

Очередь на досмотр на рейс Москва — Берлин была небольшой, поэтому оставалось время поработать неторопливо, со вкусом. И вкус этот был резиновый.

Чернильная подушечка совершенно износилась, потому приходилось облизывать печать, возить по ней химическим карандашом и потом уже пропечатывать. Во рту — противно, но служба есть служба.

Таможенник исследовал документы очередного пассажира, остался доволен. Спросил с участием и некоторым одобрением:

— На родину решили вернуться?

— Да, — чисто, почти без акцента, ответил тот.

Это был худосочный, до скрипа чистый тип в безжалостно отглаженном и откровенно ветхом костюме, безукоризненно выбритый, даже

попахивающий чем-то вроде хлорки. Из пожитков при нем был лишь дешевый фанерный чемоданчик.

— И вот так вот налегке? — для очистки совести спросил таможенник.

— Да, — снова ответил немец.

«Ты глянь, идейный. Другие хоть в Сухуми, хоть в Магадан, лишь бы не в Германию, а этот... и скарбу-то у него — с гулькин нос. Спартанец, да и только».

Он еще раз просмотрел документы: Риль Николаус Мария, инженер, 1901 года рождения, место рождения — Берлин, место прописки на территории СССР — Московская область, Электросталь. Потом все-таки попросил открыть для досмотра ручную кладь. Простая формальность.

Немец без тени раздражения отщелкнул замки:

— Пожалуйста.

Таможенник быстро, по возможности бережно провел досмотр вещей, которых оказалось крайне мало. Набор стандартный: немного белья, теплый свитер, зачем-то ушанка...

— Уши отморожены, — пояснил немец, уловив немой вопрос таможенника.

— Понятно.

«Так, паяк, буханка черного хлеба, три бутылки воды — хватит на весь полет. Ничего, опытный товарищ».

— Играете? — таможенник с уважением указал на турнирную шахматную доску — красивую, явно ручной работы.

— Да, — не оригинальничая, снова подтвердил тот.

— Любопытная штука, — подал голос второй сотрудник, улыбчивый, со сверкающими стальными зубами, все это время стоявший молча. — Можно взглянуть?

— Пожалуйста, — повторил немец.

Таможенник осмотрел доску, бережно открыл ее, полюбовался шахматами — они-то как раз выглядели на удивление ordinary на фоне такого вместилища, — извлек увеличительное стекло, исследовал поверхность доски уже с его помощью.

— Простите, что-то не так? — вежливо заинтересовался немец, впервые проявляя нетерпение. — Боюсь опоздать на рейс.

— Поэтому-то и рекомендуется прибывать на аэродром заранее, чтобы пройти все формальности, — охотно напомнили ему. — Документы на этот кунстверк имеются?

Немец пожал костлявыми, как вешалка, плечами:

— Нет. Это же просто шахматная доска.

— Если бы это была просто шахматная доска, дорогой товарищ, вы бы тут не стояли. Не откажетесь пройти в комнату для детального досмотра?

Бывший начальник одной из лабораторий предприятия «Ауэргезельшафт», «эвакуированный» ранним октябрьским утром 1946 года по маршруту «армейские грузовики — поезд — СССР» герр Николаус Риль не возражал. Он был бы не прочь прямо сейчас вернуться в ставшую родной Электросталь и совершенно позабыть о родине лет эдак на сто.

— Что скажете, Андрей Николаевич?

Профессор Князев, искусствовед, признанный эксперт в древнерусском наследии и русской живописи, снял очки, потер переносицу:

— Что скажу... Для того чтобы утверждать что-то с уверенностью и окончательно, я бы удалил нанесенные слои.

— Боюсь, это невозможно. Тем самым уничтожим следы возможного преступления.

— А, вы про это. Ну да. На Соловках я видел подобные досочки турнирного формата. Еще в двадцатых годах. Вырабатывались на

экспорт. Правда, там материалом служила, скажем прямо, мелочовка, извините, подножная, да и уровень обработки — стиль «абы как». А тут, дорогой товарищ, сработано чисто, а в основе, рискну предположить, или кто-то из учеников Симона Ушакова, или он сам.

— Вот это номер! — Таможенник поглядел на шахматную доску, бережно разложенную на чистом полотне, покачал головой: — Форменное варварство. Распилить такую древность, да еще и краской вымазать...

— Зря вы обижаете неизвестных... или уже известных?

— Нет, пока нет. Немец утверждает, что купил набор с рук в Столешниковом переулке. Как бы на память.

Профессор покусал дужку очков:

— В любом случае не наговаривайте на неизвестных умельцев. Все сделано в лучшем виде, исключительно деликатно. Грамотный, понимающий реставратор вполне может вернуть этой реликвии первоначальный вид. Будет не хуже, а то и лучше прежней. Ловко, ловко придумано. На экспертизу мне отправите?

— Как всегда.

1

Пробил очередной час икс. И снова Колька, вызывающе задрав нос, насвистывая нарочито веселый мотивчик, шагал в отделение отмечаться. Ритуал, подлежащий соблюдению, был уже знаком и хорошо обкатан: прийти, снять фуражку, поздороваться. Поморгать честными глазами, выслушать наставление типа: «Верной дорогой идете, товарищ» — в исполнении Остапчука или Палыча. Поставить птичку, где укажут. Отправиться в ремесленное. Все бодро, задорно, чуть ли не по-суворовски.

Беда в том, что не было сегодня ни бодрости, ни задора, ни тем более суворовской уверенности в том, что все будет как следует. Не радовали ни летнее солнце, уже к девяти утра раскочегарившее окрестности чуть не до плюс тридцати, ни птичий гомон, ни набитое с утра брюхо (и ведь отменный омлет маманя состряпала). И дали,

которые обычно перед выходными были распланы исключительно синим и розовым, теперь брюзгливо серели.

С очередной смены отец пришел подшофе.

Нет, не так.

Подшофе он приходил вот уже второй месяц как, а вчера приполз на бровях. Причем если обычно он, понимая свою вину, держался тихо и виновато, то теперь завалился быдлан быдланом, заставил мать среди ночи варить ему яйца, непременно всмятку, и долго орал, что переварила. Проснулась Наташка, досталось и ей: затолкал на табуретку, чужим голосом — склочным и визгливым — настаивал на чтении стихов революционного содержания. Колька этого не видел, но слышал рассказ Филипповны на лавке. И, что самое плохое, на этот раз тетка Анька не заливала.

Когда же спустя час Колька вышел на свет, соседки встретили его претензиями: мол, всем в уборную надо, извлекай родителя. Мама тихо, бесслезно плакала в уголочке, Наташка рассерженно закопалась обратно в кровать, а отец, как выяснилось, мирно почивал на полу общей уборной, порядочно загадив все вокруг.

Это было не то что унижительно, но очень обидно. И, конечно, грязно. Колька, не без труда

приведя отца в вертикальное положение, потащил его во двор, поближе к колонке, справедливо полагая, что при рецидиве хотя бы замать будет проще. Мать торопливо убиралась, со слезами просила прощения, хотя ее никто ни в чем не обвинял. Напротив, соседки быстро сменили гнев на милость и принялись помогать.

На свежем воздухе да под ледяной водой отец быстро пришел в себя, это стало ясно по изменившемуся взгляду — он стал как у побитой собаки.

— Я сейчас, — бормотал он, хватаясь руками, — чего это я, в самом деле... сейчас. Я туда.

— Сядь покамест, — посоветовал Колька самым обычным голосом, хотя на душе было погано так, что словами не описать. — Пап, сейчас не надо никуда. Отдохни. Я с тобой посижу.

Отец, опершись локтями о колени, уронил голову и то ли забылся, то ли заснул. Колька, в очередной раз плюнув на воспитание твердого характера, закурил. Когда ядреный аромат дошел до забитых отцовских ноздрей, он поднял голову и попытался изобразить суровый родительский взор. Сын сначала не понял упрека, потом лишь отмахнулся:

— А! Ты вон пьешь...

Игорь Пантелеевич кивнул, сокрушенно, с истинным раскаянием, и снова уронил голову. Чего тут проповеди читать, кто он такой — не отец, не пример — позор несмываемый. Но ведь так надо было объясниться, оправдаться, снять с себя хотя бы немного этого чугунного стыда.

— ...и тут тварь эта, полицай, губехами своими шамкает: «Шта, боевой летчик, обделался по полной, теперь обтекай. Меня народ простил, я не по своей воле, по малодушию под немца пошел, а ты, почитай, все равно что перешел на их сторону, и потому гнать тебя со сторожев надо по причине того, что ты все равно что предатель»...

— Кто это говорит? Этот ваш... прощенный? — Колька даже имени этого произносить не хотел.

При промтоварах работал грузчиком (не сказать — подъедался) тип, который до войны еще уехал на сытые украинские хлеба, «трудился», как было точно установлено, полицаем. Однако какими-то путями — блат не блат, фарт не фарт — умудрился доказать, что, служа врагу, на самом деле поставлял ценные сведения местному партизанскому отряду («а то, что отряд разгромили вскорости, — это, извините, ошибка командования и перегибы»).

Вообще вел он себя тише воды, оно и понятно. Но стоило принять на грудь, и из него перло таким духом, что нормального человека воротило. Квартировал этот свищ у одной известной алкоголицы, сожительница лупила его смертным боем, поэтому он храбрился вне дома. Теперь вот решил докопаться до Пантелеича, который пусть и из образованных, а вот, получается, куда хуже его, прощенного народом полица, который и в плену «ну, фактически» сумел соблюсти непорочный облик...

Колька, выслушав сбивчивую исповедь отца, скрипнул зубами:

— Где этот баран непорочный? Сейчас он у меня того... соблюдет по сусалам.

Но отец, уже подрастерявший хмель, замахал руками:

— Сынок, что ты, что ты! Сиди тише воды ниже травы. Пусть его... сам сдохнет. Нельзя.

...Вот так вот все и было. Отец с утра остался отсыпаться до следующей смены, а Колька, пиная сплюсненную консервную банку, пошел отмечаться.

«Нельзя. Нельзя. Нельзя ничего исправить. Как бы ты ни старался, единожды оступившись, все равно по жизни виноват. Точь-в-точь как

вот эта банка — она и на посуду-то не похожа, сплюснутая, изуродованная, и ничего-то нового в нее не нальешь, и вряд ли она когда снова станет банкой».

— Что это ты, тетка, больно суровый, — отметил Сорокин, который сегодня нес службу единолично, расшугав подчиненных по заданиям, — не выспался?

— Нормально все, — отрезал Колька.

Однако от Сорокина, если уж он что заприметил, отвязаться было трудно. Вечно этому одноглазому больше всех надо.

— Товарищ поднадзорный, мне нужно промеж тебя вести воспитательно-просветительную, а заодно и профилактическую работу. Что стряслось, Коля, выкладывай. На учебе что? Мастер тебя хвалит, по месту прописки характеризуюешься положительно. Таким макарком скоро можно будет подавать на условно-досрочное, а там и на снятие.

— Все нормально, говорю, — упрямылся парень, но в разобитую голову вдруг проникла светлая мыслишка: «Не чужой ведь человек, не паскудник какой, чего бояться?»

И он решился:

— Николай Николаич, а что мне это условно-досрочное, снятие? Все равно уж. Так и так получается — пятно на мне на всю жизнь.

Сорокин удивился:

— Это что за разговоры такие? У тебя что, свой собственный закон уголовный или ты в какой иной стране живешь, не в советской? Сказано...

— ...а что сказано? — заедался Колька. — Сказать что угодно можно и написать тоже, а на деле — все одно — никто не забудет, что квартирки обносил, и десять лет спустя помянут. И не возьмут ни на работу достойную, ни на учебу. Мне только фамилию меняй да вербуйся в Сибирь или в Казахстан какой.

— Стало быть, нет справедливости в Стране Советов? — уточнил Сорокин, хмурясь и кривя губы, чтобы не улыбнуться.

Колька хотя и не смотрел на капитана, ощущал: смеется гад. Ребячество, думает, не понимает мелкий. Надо было бы гордо встать, откланяться и хлопнуть дверью, но снова какой-то светлый червяк точил: скажи, скажи, открой душу, не выпендривайся.

— Батка мой, с образованием, в плену не по своей воле оказался — и то его гнобят все кому не лень. Сторожем трудится, спивается на глазах. Даже этот, полицай недорезанный, зубы на него скалит. Тут честного человека, фронтовика со свету сживают, а уж меня и подавно... А, да чего

там. Где тут у вас отметить? — Расписался, махнул рукой: — Пойду, — и направился к выходу.

Сорокин хлопнул по столу:

— А ну, стой! Я тебя не отпускал.

Встал, прикрыл дверь, указал на стул:

— Сядь. Рассказывай.

— Что?

— Что знаешь.

— А что я знаю? — огрызнулся парень. — Небось вы поболее моего знаете, какие разговоры с батей вели.

— Нет, не знаю, это другая служба, — отрезал Сорокин. — Значит, так поступим: отцу скажешь, как проспится... тихо, я говорю. — Колька захлопнул открытый было рот. — Так вот, как в себя придет, пусть заглянет ко мне. Ко мне только, понятно? Именно ко мне, не к Палычу, не к Саньчу. Погоди, сейчас повестку выпишу, персонально.

И, быстро заполнив бланк и поставив удивительную свою закорючку — множество росчерков, петель и кружев, — вручил Кольке.

— Прямо сейчас иди и отдай, понял?

— На занятия опоздаю.

— Хорошо, сейчас и тебе бумажку накатаю, — черканув пару строк и сложив листок, передал и вторую «индальгенцию». Потом вздохнул: —

Что же делать, все у нас на бумажках, идем на поводу у бюрократии. — Но, спохватившись, строго заявил: — Потому что должны быть порядок и социалистическая законность. Потому как пока нельзя иначе. Усек?

— Так точно, — заверил Колька.

— Да, и вот еще что. Не вздумай перед отцом нос задирать. Пьет не пьет, а он — отец, его следует уважать.

— Чего ж тогда мне бумажку отдаете? Позвали бы его со всем вашим уважением.

— Мое уважение — это мое дело, кому хочу — тому оказываю, — отбрил Сорокин, — а тебе отдал не потому, что твоя персона чем-то лучше или понимает больше. Исключительно жалеючи батю твоего. Ты его сын, он — твой отец и тебя любит. А раз любит — то скорее послушает. Понял? Свободен. — И отпустил Кольку начальственным кивком.

2

Свежей летней ночью Оле снился удивительный сон — цветной и яркий, сказочный, пусть и без малейшего сюжета: красочные мазки самых разнообразных оттенков складывались и, рассыпаясь, преображались в нечто совершенно новое.

То одна картинка перед глазами возникает, то вдруг что-то из нее пропадает и вроде бы рушится все, ан нет — выстраивается совершенно иное. Как в мозаичной подзорной трубе.

А главное — оттенки. Все оттенки зеленого, голубого, золотого, пурпурного — и было их необыкновенно много, и были они такие разнообразными. Вдруг пришло ясное понимание: на самом-то деле это не цвет, а лишь отражение света, властно преодолевающего все преграды да еще и придающего преградам новый смысл и облик.

От всего созерцаемого во сне великолепия вполне ощутимо заболели закрытые глаза и голова, и пришла мысль, что все это надо прекратить, и немедленно.

Только стоило подумать так — как прохладная мамина рука легла на голову, упоительно запахло свежим какао — да сегодня еще и на молоке! — и нежный голос, точь-в-точь как в далеком детстве, проговорил:

— С добрым утром, доченька. Просыпайся.

Довольно улыбаясь, потягиваясь, Оля порадовалась: «Неужели все наконец-то наладилось. Хорошо-то как!»

В самом деле, то ли Вера Вячеславовна приобрела наконец необходимую сметку и управлен-

ческие навыки, то ли просто, по-детски, как-то само все «наладилось». А скорее всего, мама наконец-то осознала, что работа — это очень важно, но она — далеко не все. В любом случае прошли те времена, когда их с дочкой общение сводилось к сухому: «На работе чепэ, я ушла».

Как-то сами собой в Олин распорядок дня вошли утренние и вечерние посиделки с мамой за чашкой ароматного чая или какао (иной раз и ненастоящего, но пусть, душевность компании полностью восполняла этот недостаток). Возможно, повлияли и беседы лейтенанта Акимова, который теперь нередко укреплял связи с населением и проводил профилактические мероприятия, сосредотачивая свои усилия именно по их адресу.

Мама только отшучивалась и отмахивалась: «Ой, ну перестань», но чуткая Оля не могла не заметить, как при визитах Палыча мамин взгляд смягчается, как становятся более плавными ее движения, а строгий костюм вдруг неожиданно дополняется ярким платочком.

И, конечно, цветов в доме становится вдвое больше. Какой-то особый смысл был в этих, возможно, никчемных, но трогательных преподношениях, которые и «ремесленник» Коля, и оперуполномоченный лейтенант Акимов со-

бирали на каких-то заповедных полянах, старательно пытаясь разносить по времени свои визиты на природу.

— Какой странный сон мне снился, — поделилась Оля, — все такое узорчатое, цветастое, золотое с зеленым.

— Это, наверное, ты вчера моих образцов насмотрелась, — заметила мама.

На столе еще со вчерашнего вечера были разложены образцы узоров для ткани, которые Вера Вячеславовна анализировала, стараясь понять, следует ли их представлять на комиссию, и если да, то как подать (и отстоять). Споры нет, они были просто великолепны, особенно на фоне суховатых типовых решений, и при всем при этом для создания их не требовалось ни резко увеличивать потребление краски, ни изменять технологические процессы. Да и с точки зрения моделирования и пошива весьма удачное решение. Вера Вячеславовна готова была поручиться за то, что предлагаемые расцветки и узоры универсальны и модели, сделанные из них, будут востребованы как в промышленных масштабах, так в домохозяйствах.

Смущали непривычная цветовая гамма и отсутствие четких узоров, над чем она до поздней ночи и ломала голову: «Могут возникнуть пре-

тензии, а то и обвинения, как это там? Отсутствие центральной мысли, формы. А ведь так красиво!»

— Знаешь, мам, а ты права, — кивнула Оля, всматриваясь в образцы, — именно такие узоры я во сне и видела.

— Вот и я думаю, насколько хороши такого рода вещи, если они потом по ночам снятся, — отшутилась Вера Вячеславовна, — ну ладно, а теперь, пожалуй...

Она не договорила и смолкла, прислушиваясь: с улицы доносилось шарканье стоптанных опорок и заунывные, монотонные звуки — то ли пение, то ли завывание.

Мама вмиг посуровела, бросила взгляд на часы:

— Вот наконец и она. Я уже волноваться начала, что-то припозднилась сегодня.

— Наталья? — спросила Оля.

Вера Вячеславовна кивнула.

Вдоль по улице, едва передвигая ноги, брела худенькая женщина, которую тащила за руку девочка лет четырех-пяти, суровая, сонная, но одетая как на парад, куколкой: светлое платье, бантики, туфельки. В отличие от мамы. Женщина смотрелась настоящей оборванкой: какой-то балахон до пят, платки — один на пояснице, другой на голове, огромные уродливые очки

с обломанной дужкой, чудом держащиеся на носу и за одним ухом. Волосы — густые, белокурые, но несвежие — уложены в нелепую причудливую прическу.

И главное: потухший, ни на чем не фокусирующийся, блуждающий взгляд и повторяемые тоненько слова: «Ванечка мой, Ванечка, на кого ты нас оставил», «горемычные» и прочее в том же духе.

Это была местная достопримечательность: Наталья Введенская, жена слесаря-наладчика с текстильной фабрики, Ивана Палкина, и его самостоятельная серьезная дочка Соня. Несколько лет назад Ваня Палкин, отменный универсальный мастер (по этой причине и на фронт не пустили, заменить нечем было), передовик, положительный семьянин, вдруг загулял. Уехал невесть куда глубокой ночью, когда домашние спали, да еще и прихватил с собой гроши и то немногое ценное, что имелось в хибаре, притом что добра в ней и так было немного. И ведь ничего, как говорится, не предвещало. Расчета он так и не получил, трудовая книжка лежала в кадрах.

Соседи удивлялись: муж с женой жили дружно, много горя хлебнули вместе. В сорок первом Наталья выкинула, в сорок втором умер

сын трех месяцев от роду. На Соню, родившуюся в сорок третьем, они оба надышаться не могли.

Все знали, что Иван очень любит свое семейство, заботится о дочке и жене, и это несмотря на то, что Наталья уже довольно долго пребывала, как деликатно говорили, «не в себе».

Она была очень красивая, настоящая сказочная царевна — то ли Несмеяна, то ли недавно ожившая, а ранее мертвая, — тростиночка с огромными синими глазами, белокурой косой, длинной лебединой шеей и тонкими, изящными руками. Кумушки называли ее снулой рыбой и бледной немочью, но это из зависти: мужик — продукт дефицитный, а Иван был видный богатырь, а уж руки — просто золотые.

Мужская половина населения, понятно, брошенной сочувствовала, но втайне понимала: не сдюжил Ваня. Никчemuшная эта Наталья, тощая, чахлая, к тому же странненькая, зря он ее взял. Гулял слух (уже после Ваниного исчезновения), что чокнулась она неспроста, что Иван по пьяной лавочке избил ее из ревности. Он вообще не дурак был заложить за ворот, а заложивши, нередко распускал руки. Что, мол, Наталья это скрывала то ли из любви к мужу, то ли просто потому, что была

неболтлива, не любила «задушевных» бесед на улице — держалась пугливо, особняком.

После пропажи мужа Наталья окончательно «съехала». Сколько уже времени прошло, как пропал Палкин, столько всего стряслось, а она, бедная, все не отставала от почтальона, караулила у калитки, со слезами выпрашивала письма от мужа. Донимала и милиционеров, да так, что даже Остапчук, мужик терпеливый и сердобольный, научился за это время по-собачьи за версту чутать ее приближение — и немедленно отбывать на какое-нибудь неотложное мероприятие. Менее проворный и опытный Акимов обычно не успевал эвакуироваться, по этой причине вынужден был принимать гражданку Введенскую и в сотый раз нудно и терпеливо повторять, что — да, ведутся розыски гражданина Палкина И. И., оставившего без средств к существованию свою нетрудоспособную супругу Введенскую Н. Л. и малолетнюю дочь Палкину С. И. И что оперативные мероприятия по-прежнему пока не дают результата.

Горемычная Наталья совсем было опустилась, уже не стесняясь ни молвы, ни взглядов. Прилюдно убивалась, плакала, бродила по округе, жалуясь на судьбу непонятно кому. Со-

седи пытались ей помочь: собирали по крохам еду, что-то из тряпок-одежи, причем Наталья, когда на нее находило просветление, держалась очень скромно, благодарила, предлагала «отработать», но получала на этот счет гневные отповеди.

Вера Вячеславовна, у которой тоже болела душа за бедную маму, сумела утрясти вопрос с ее трудоустройством на неполный день как надомницу (Наталья категорически отказывалась отдавать Сонечку в «чужие руки», то есть на пятидневку). От этого выиграли обе. Наталья, как выяснилось, очень одаренная художница. Именно ее работы — узоры для текстиля — сейчас лежали на столе Веры Вячеславовны. У нее было редкое понимание специфики именно этого вида художества, умела она из разрозненных фрагментов сложить целое и красивое. Возможно, потому что и сама замечательно шила: дочка Соня была всегда одета с иголочки, причем соседки с удивлением и одобрением узнавали в ее платяницах пожертвованные простыни, в щегольских кофточках-пальтишках — лоскутки одеял и прочего хлама, пожертвованного по принципу «на тебе, боже, что мне негоже».

Годы прошли, война кончилась, постепенно люди поднимали головы. Наталья подуспоко-

илась, жизнь семейства налаживалась. Она стала походить на нормальную, даже разбила под окнами огород, который, правда, по ее совершенной безрукости к такого рода хлопотам вечно зарастал снытью и лопухом. Да и работа на текстильной фабрике давала неплохой доход: художницу ценили, пусть далеко не всегда и одобрялись ее идеи. К тому же Наталья начала писать репродукции с известных картин, и многие — и организации, и простые граждане — заказывали их, расплачиваясь если не деньгами, так натуральным продуктом.

После долгих уговоров она все-таки согласилась пристроить Сонечку в детсад от фабрики. Воспитатели не могли не отметить, что девочка, несмотря на молчаливость и замкнутость, чрезвычайно развитая и воспитанная. Было видно, что с ней занимаются и дома.

В общем, не бедовали, хотя на Наталью все равно временами «находило». И тогда она, отведя дочку в садик, наносила очередной визит в отделение милиции и только потом отправлялась на фабрику получать задание.

— Девочка бедная, — с состраданием заметила Вера Вячеславовна, — гляжу на нее и вспоминаю себя. Ужасно трудно одной, без помощи, без поддержки, — она обняла и по-

целовала Олю, — ну ладно, доченька, теперь мне пора. Кстати, тут подшефные предлагают билеты в Музей Москвы, особая юбилейная экспозиция. Моим-то недосуг, а вы с Колей не хотите съездить? Может, кто из ребят захочет?

— Мы с Колей едем, — заверила Оля, — а вот ребят я спрошу.

Мама, поправив платок и с удовольствием глянув на себя в зеркало, упорхнула чудо-птицей. Оля проводила ее, помахав в окно.

Как все-таки хорошо, что в числе твоих хороших знакомых есть хитроумный Сергей Павлович, который способен выслушать — внимательно, не перебивая, с сочувствием — и вставить пару умиротворяющих мудрых слов.

В том, что мама кардинально изменила свое отношение к Коле, — немалая его заслуга. Стараниями Акимова Вера Вячеславовна не просто сменила гнев на милость, но и разглядела самостоятельность, ответственность, зрелость и прочие ценные качества Николая, как бы совершенно позабыв о его бурном прошлом. Теперь на замечания любительниц улаживать чужие дела Гладкова-старшая твердо замечала:

— Оступиться может каждый, главное — вовремя осознать свои заблуждения и встать на верный путь.

Колька, узнав о культурной программе на ближайшей выходной, с готовностью занял:

— Оля, ну что мы там не видели? Тоже придумаешь — музеи! Старье одно под стеклом. Пойдем лучше в ту же «Родину» сгоняем, говорят, там отличную картину привезли, легенда о чем-то там.

— В музеях сейчас столько народу, что туда невозможно попасть, а тут — приглашение. Что до кино, то сгоняем и в «Родину», — безмятежно пообещала Оля, перекидывая косу за плечо, — чего ж не сгонять, если благосостояние позволяет.

Колька прикусил язык, но спорить не стал. Позволяло оно, это самое... благосостояние. Ведь теперь он как учащийся ремесленного училища состоял на полном обеспечении плюс стипендия. Однако все-таки надо было что-то и в семью отдавать, батя-то по-прежнему в сторожах, а мама все в медичках, да и Наташка нет-нет да на мороженое выпросит. И самому порой хотелось.

Оля, сжалившись, сообщила, что посещение музея бесплатное.

— Еще можно кого-нибудь из наших пригласить.

— Анчутку с Пельменем, — сострил Колька.

— А что? Если их отмыть и приодеть, очень даже приличные молодые люди, не хуже тебя, — поддразнила Ольга, — правда, сперва их поймать надо, а между прочим, где они теперь водятся?

Он пожал плечами:

— А кто ж их знает. Не волнуйся, проголодаются — придут.

— Была бы охота волноваться. Я скорее Саньку со Светкой позову, пускай проветрятся с пользой для мозгов, или что у них там под панамками.

В назначенное время они всей компанией погрузились в электричку и поехали культурно просвещаться. Первым делом перепутали станции метро, что, впрочем, никого не огорчило, есть законный повод прогуляться.

А было на что поглазеть! Многие дома были в лесах, их красили, ремонтировали, обновляли. Город, приведенный в порядок к юбилею — своему и Великой революции, — хорошел и не собирался на этом останавливаться. Людей на улицах было множество: опрятные женщины, мужчины не только в военной форме, но уже и в штатском. Постепенно народ обзаводился скарбом, что раньше считалось невозможным да и ненужным.

Прогулялись до Красной площади, подивились на «ЗиСы» и «Победы» у здания Госплана, причем Санька и Светка принялись было переписывать автомобильные номера, которые решили «коллекционировать». Пришлось дать им по рукам и ретироваться, поскольку уж чересчур внимательно посматривал в их сторону бдительный постовой. Он как раз перед этим пропесочивал двух каких-то не по-нашему выглядящих и слишком улыбчивых, которые засняли колонну ребятишек на экскурсии. И несмотря на то, что эти двое предъявили ему некую бумажку, милиционер — видимо, единомышленник капитана Сорокина — не собирался идти на поводу у бюрократии и, пригласив фотографов к телефону-автомату, куда-то позвонил. Лишь после того, как прибыла машина, как вылезли из нее двое в штатском и внимательно изучили документы, потом бумажку, как снова куда-то позвонили и лишь после этого уехали, — только после всех этих действий постовой, улыбаясь, отдал честь и отпустил горе-фотографов с миром.

Ребята прошли вдоль сияющих, отмытых от бумажных полос и светомаскировки витрин ЦУМа, заставленных разнообразными и удивительными товарами. Чего тут только не было! Горы консервов и пирамиды бутылок с шампан-

ским и вином, японские крабы, американская тушенка. Огромные банки с икрой, вязанки колбас, головы сыра, копчености. Множество красочных упаковок, коробок, коробочек и гигантских коробов, загадочно улыбающиеся манекены, одетые как в сказке.

В этом пестром великолепии Оля с удивлением заметила знакомые цвета и узоры из работ Натальи.

«Вот это да! По всей видимости, мамина фабрика закреплена за ЦУМом, — сообразила она, — надо же, а мы Наталью за дурочку держим. Хотя одно другому, говорят, не помеха. Вот было бы забавно взять за пуговицу какую-нибудь из этих, которые там внутри, расфуфыренные в шляпках, и сообщить, что рисунки для их туалетов создает городская сумасшедшая».

В это время Колька легонько дернул ее за косу и поинтересовался, идет Оля или так и будет глазеть на элементы сладкой жизни.

В Мавзолей стояла длинная очередь. Ольга с мамой однажды тоже, отстояв такую же, а то и длиннее, оказались в таинственной камере, где в полной благоговейной тишине прошли мимо прозрачного гроба, через который были видны знакомые легендарные черты — выдающийся лоб, острый нос, бородака...